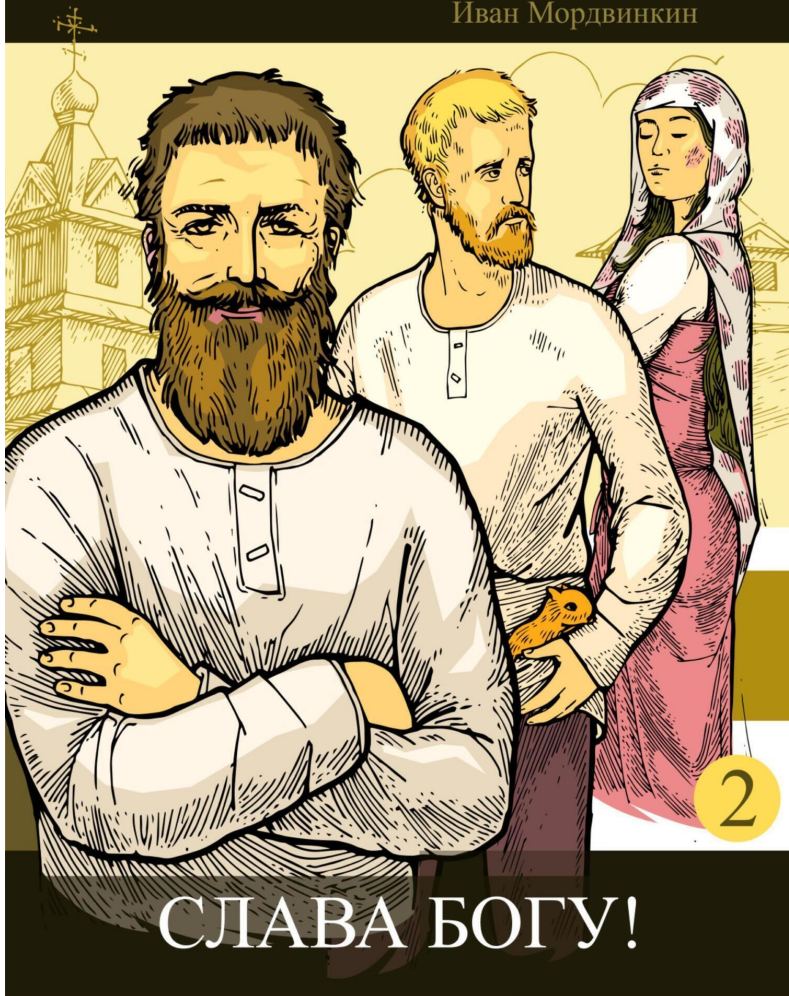


Иван Мордвинкин



СЛАВА БОГУ!

СЕРИЯ РАССКАЗОВ "НИКИШИН БЕРЕГ"

# Иван Александрович Мордвинкин

## Слава Богу!

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67947998](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67947998)*

*SelfPub; 2023*

### Аннотация

Христианский православный рассказ о двух взрослых братьях Федоре и Игнатии – простых русских мужиках, живших в начале XIX века. В течение повествования Федор – значительно старший брат, поддерживает Игнатия в различных опасных и комичных ситуациях, стремясь вселить в него веру в Промысл Божий и в необходимость славить Бога в любой ситуации. Это рассказ о любви во многих ее ипостасях: о той, что дается даром, и о той, что стерпится, о неразделенной и неисчерпаемой родительской любви, о главной любви в этой жизни – любви к Богу.

# Иван Мордвинкин

## Слава Богу!

– Что у вас с Акулиной, Игнаш? – любопытствовал Федор, когда братьям случилось остаться одним. Сенокос окончился, они сметали последние копны на телегу и, не влезая сверху из-за шаткости высокого стога, пошли пешком, взяв кобылу под уздцы.

– А что у нас? – попробовал ускользнуть от разговора Игнаш. – Тихо-мирно, все ладится.

– Да уж, тихо... Да мирно ли? Такая тишина, что и оглохнуть немудрено, – Федор улыбнулся, но вышло как-то косо и без теплоты. – Сидишь у нас все больше, домой только спать ходишь. А то и на сеновал.

Игнатий не ответил, молча передал Федору узду, отошел на поросшую подорожником обочину и остановился, пропуская телегу вперед, с озабоченным вниманием оглядел огромную, шаткую копну сена, вздрагивающую на кочках, – не упадет ли? Копна держалась прочно и падать не собиралась. Пришлось догонять и возвращаться к изголовью – к Федору, к узде, к фыркающей лошадиной морде и... к разговору.

– Вроде, крепко сидит, – перевел он беседу в другое русло, но Федор вывернул обратно:

– Куда ж ей деться-то? – он глянул на Игнатия, сощурился

глаза. – Ты, это... Не думай... Я вижу ведь все... Это я про Акулинку. Не сплетается оно у вас, что ли?

– Да, эт... И не знаю, – решился на разговор Игнатий, раз уж отвертеться не выходило. – Год от году все только хуже-ет, – он хотел было сказать что-то еще, даже набрал в грудь воздуха, но выдохнул, фыркнув вслед за лошадью, и махнул рукой. – Что говорить? Как есть – так и есть. Будь оно все!

– Это как – «как есть – так и есть»? – Федор чуть наклонил голову, чтоб лучше видеть лицо собеседника. – Это вроде «слава Богу», или вроде «Не слава Богу»?

Игнатий бросил на брата короткий злой взгляд и уперился под ноги, рассматривая для успокоения высохшие дождевые ручьи, похожие на русла невиданных рек. Но реки не помогли, и он выпалил, уже не сдерживаясь:

– «Слава Богу»? Такое радостное и веселое «Слава Богу»? – и зло улыбнувшись, ответил сам себе: – Нет такого у меня! Есть только... Есть только... Какое тут «Слава Богу»!?

– А-а-а... – с пониманием протянул Федор и задумчиво рассудил. – Хм-м... Это не то-о... «Слава Богу» – оно только настоящее бывает, тогда оно и напоит, и накормит. А «Как есть – так и есть», это не то... Это унылое такое. Оно тебе как отравя.

– Ну уж и пушай, – мрачно отрезал Игнатий, и его брови злобно столкнулись на переносице. – Я таких дел не ведаю, мне – как есть – так и есть!

– Хм... – опять промычал Федор, размыслительно сжал губы и через бороду поскоблил пальцем подбородок. – А кто ведает?

– Да, эт... Не знаю я! Ты, вот, может и ведаешь, – он не хотел сердиться и очень старался, да видно глубоко в нем засела заноза, которую старший брат не разглядел вовремя, и теперь доставляла ему страдания. – А я человек простой!

Дорога пошла на крутой подъем, Игнат опять остановился, отстал, чтоб проверить сено. Копна так же опасно вздрагивала, стоило телеге наскочить на неровность или камешек, но сидела также ровно и надежно. Что и говорить: опыт у них уже был пребольшой.

Он вернулся к узде и пошел рядом с Федором, отведя взгляд в сторону. Обочины засушливого взгорка заросли высокими седыми чертополохами, сейчас так сильно похожими на разгневанного Игнатия: такие же злые, колючие, и несчастные. И кто бы видел? – в середине их украшали великолепные, яркие и пахучие цветы, нежные и трогательные, как его сердце.

– Та-а-ак... – протянул Федор и погрузился в столь напряженное и мучительное размышление, что Игнатию стало неловко за свою вспыльчивость. А еще за то, что кто-то сторонний, пусть даже и Федор, входит в его потаенную семейную жизнь и думает вместо него, будто он несостоятельный и неумелый малец. И самое больное, что так оно, почитай, и было. А ведь он прожил уж и возраст Христов, и мужик он

крепкий и тертый...

– Да, вроде, хорошо все у вас, – пришел к выводу Федор, окончив свои раздумья, и продолжил рассуждать вслух. – Это вроде весов на базаре: и пустые они показывают вровень, и нагруженные одинаково – тоже. Вровень! Вот и у вас: и не скандальные, и в труде оба с утра до ночи, и все есть у вас, и здоровы оба. Полны весы. А вровень! Малости не хватает, чтоб к хорошему им перехилиться. А потому и живете молча уж столько лет.

Игнатий, поразмыслив над сравнением, вроде бы, что-то понял, и, раздумываясь щеками, со смущением предположил:

– Может, надо первым с ней заговорить? Просто, как ты с Варварой, рассказать где был, чего делал... Так и пойдет. Правда, уж неделя, как я это придумал... Не решился только еще.

Федор улыбнулся:

– Да не беспокойся ты так. Как по мне, так главное, что ты хочешь дело поправить. А уж как оно поправится, это не твое, это Божье. Тут уж Он сам как решит.

– Так я ж давно об этом пекусь! – взбудоражился снова Игнатий. – И где ж эти «поправки»? Не поправляет Господь, видно проклятье на мне какое или еще что...

– Ну уж тебе! «Прокля-а-атье»... За тебя батюшка молится, Никифор Афанасьевич, праведной жизни человек и Христа ради мученик. «Даже до смерти»... Нам не проклятия

страшны... – Федор перекрестился с помином, заговорив о погибшем отце.

Это было так давно... Теперь уж выросли все, взрослые, семейные. Даша, правда, овдовела два года как. А Никифор живет с Акулиной, но...

Как себе, так и своим домочадцам, на правах вынужденного главы семейства, пару Федя подбирал просто: глядя, как ходят на богослуженье, как молятся, как стоят на службе, да как опрятны и просты в одежде. Этого, считал он, достаточно вполне.

С Игнатием не вдруг пришлось, и невест на приходе на него все не находилось. Однако ж, определился и ему жребий – девицу звали Акулиною, и знался с ее семейством Федор близко, поскольку она была дочерью местного попа.

Акулина оказалась домовитой и старательной хозяйкой: в работе ее видели там, где и обойтись было можно, подружек она не заводила и во всем была разумна. Однако имелась в ней некоторая черствость к супругу: выходя замуж, она не противилась воле родителей, но и радостных объятий мужу не раскрывала. И тот чувствовал себя брошенным холостяком, сердился молча, грустно задумывался, хмурился и переживал, но что с этим делать не знал, а спросить у Федора не решался. Да и откуда знать Федору? Тот и сам до всего добирался своим умом, спотыкаясь и падая по пути.

– Ты просто живешь как? – продолжил Федор, пытаясь урезонить унывающего брата. – Как есть – так и есть. А где

тут Бог? Кабы сказать тебе – «Слава Богу!», да с радостью, с надеждою. То тут бы все и переменялось. А «Как есть – так и есть», это, вроде как смирение такое, токмо без Бога. Стало быть, безбожное. Вот оно тебе и отрава.

– Не шибко-то понятно слагается, Федь. Не знаю я премудростей, – Игнат вроде бы и понимал, о чем толкует Федор, но, видно, боялся, что простому мужику негоже пускаться в Божии рассуждения и размышлять о высоких тонкостях. Ибо грамотными людьми не раз сказано, что мужик груб и неотесан. Как чертополох. – Разберусь, не беспокойся. Чай не мальчонка уж давно.

Возвышенность вошла в короткое плоскогорье, в центре которого белела известная в округе Невестина береза – радость местных девчат: высокая, но изящно-тонкая белокожая красавица, причудливо свившаяся с напористым молодым ясенем.

Ее образ навял Игнатию убедительный довод, позволяющий перейти в наступление:

– Ты, вот, сам-то как? Уж и Филипповки прошли, и Великий пост, Троица на носу! А где Агафьина свадьба? Агашка изревелась уж вся – переживает девка! И как же нам выкупать вольную для жениха «еённого»? Или отдать ее в крепость, чтоб твои внуки родились барину в работники? И где ж твое «Слава Богу»?

Федор вздохнул вразтяжку, снисходительно и тепло улыбнулся, как улыбается отец, услышавший от несмышлениша



несусветную, но забавную, глупость, и ответил:

– Это ж не волшебное слово, как в сказках. Бог, Он живой, уж как волит, так и долит. Ну, а как выполнит Он просимое, что тогда скажешь? – Федор улыбался так добродушно, спокойно и уверенно, что Игнатий смягчился и, пожав плечами, не нашелся, что ответить.

– Ну, ты попробуй хотя бы, – Федор с улыбкой толкнул брата плечом. Тот шатнулся, заулыбался по-детски озорно, и отпихнулся в ответ.

Дорога покатила книзу, петляя над извилистым берегом реки Тихой. Пахнуло водой, рыбалкой и цветущими аирными петушками, усыпавшими прибрежную зелень желтыми и сиреневыми цветками. Они издалека бросались в глаза и были похожи на пятна солнечного и лунного света, застрявшие в цепких речных зарослях.

Дома сено сбросили и затащили в сеновал. Теперь уж у зимы будет на одно горькое слово меньше. Остаются еще дрова, хлеб, да дорастить огород, а уж там наквасить овощей, да ячмень убрать, да... Много еще всего, торопит лето – к зиме гонит.

Игнат засобирался раньше обычного, отказался ужинать у Федора и отправился домой.

Жара сошла, день перетекал в мягкий и певучий июньский вечер, с озера напустило влажной прохлады, и ранние вечерние птицы лениво и не часто «чиркали», сберегая силы

к главному торжеству – закату солнца.

Акулина уже привычно уладила хозяйство, подоила коров, и окончив обыкновенные вечерние дела, одиноко сидела на высоких ступеньках крыльца и поглаживала неугомонную кошку, прохаживающуюся туда-сюда вдоль ее босых ступней.

– Я... – начал «непринужденную» беседу Игнатий и как мог небрежно оперся локтем о крылечную перилу. – Мы сено... С Федей ... Забили полный сеновал. Сегодня были... Собрали последнее... – И, помолчав вдумчиво, добавил: – Сено.

Акулина, не глядя на мужа, продолжала забавляться кошачьей назойливостью, молчала и смотрела вдаль.

Еле видные отсюда мужики и бабы, расположившиеся по смирновскому обычаю на Белом плесе, что на противоположной стороне озера, суетились и смеялись, приготавливаясь к общему гулянию по случаю успешного окончания сенокоса. Сено смирновцы косили всем миром, от того работа эта здесь всегда проходила весело, дружно и быстро.

Игнат проследил за ее взглядом, медленно и глубоко вздохнул, и продолжил «болтать» ни о чем:

– Теперь, вот... Раз уж, сена набралось... дровами будем... запастись. Зима придет... зимою.

Жена коротко взглянула на него, и опустила улыбающуюся, как показалось, недоброй улыбкой, глаза, и погладила кошку. Та, почуяв внимание к своей особе, ловко вскочила

к Акулине на покрытые подолом колени.

Игнатий, растерянный и порозовевший до ушей, совсем оторопел и замолчал. Неловкая тишина обрушилась на него всем своим неподъемным бременем. Он захотел уйти обратно в уютную Федорову семью, и лучше бегом, но только и смог, что с тоскою повернуть голову к братовой избе.

То, что он увидел, повергло его в ужас: из-за угла дома, любопытствуя, выглядывала Варвара с младшеньким на руках. Двое других, стоя у ее ног, поглядывая на мать и подражая ей, тоже высунулись своими мордашками и озорно хихикали. Завершением позора стала бородастая, счастливо улыбающаяся голова Федора, рыжая в закатных лучах, которая тоже пялилась из-за угла на бесплодные и болезненные попытки Игнатия положить на семейные весы недостающую малость.

Нужно было решаться, и он вынул из-за спины небольшой красивый пучок ярко-желтых и сиреневых петушков, незаметно от Федора собранных сегодня у реки.

– Я думал, тебе может... – он положил цветы возле нее, и Акулину обдало душистой пряной волной. Игнат сел на нижнюю ступеньку спиной к дому, украдкой взглянул на братову избу – никого нет – и вздохнул с облегчением. Балагурить как Федор и Варвара не получалось. Для этого Игнату нужно быть Федором, а Акулине – Варварой. И он продолжил «перехилять весы» сам собою, какой есть Игнатий:

– Я не хожу домой и на сеновале сплю из-за пыли – много

было хлопот с сеном, а от этого чешется все. А в избе душно. Федор в озере окунулся – и все, а я не могу, – он сделал паузу, в надежде, что она что-нибудь скажет. Но она промолчала.

Над озером потянулась синеватая полоска дыма от праздничного костра на том берегу, а поверх нее легли звенящие и волнующие голоса девичьей песни, которая так же полетела над водою, и в уютную вечернюю мягкость вошло что-то одновременно грустное и обнадеживающее, от чего хотелось жить и любить.

Игнатий снова протяжно вздохнул. Видимо надеясь, что если развеять недоразумение с его ночевками на стороне, это хоть немного их сблизит, он уточнил:

– Там вода ледяная по берегу из-за родников. А я ледяную воду... Не люблю я ее.

– И питаешься у Феде потому? Сено у него, что-ль вкуснее? – не поднимая глаз, с шуточной издевкой ответила Акулина. Было не ясно, весело ли она шутит, и это высказывание примирительное, или злое ядовитое остроумие.

– Да, эт... Причем здесь... Сено-то... Просто, заодно все, – Игнатий, осекся и разозлился собственной нерешительности. Не зная, что ответить, с накату продолжил начатое: – Я хотел в бане сегодня помыться. Я уж там все загодя приготовил. Но там узлы какие-то, тулупы старые. Смотрю – вроде наши?

Голоса красивого звонкого пения, проплыв над озером, унеслись дальше, вдоль течения Тихой, и там навсегда рас-

таяли в бесконечном летнем эхе. Девки отпели свою песню.

– Наши, – ответила она равнодушно, но помолчав, уточнила: – Я сегодня снесла, к завтраму приготовила. Надо-ть перебрать, да гожее постирать, а не гожее, так и вон... На чердак.

– Так ты, эт... Убери. Я б хоть помылся, весь колюсь, как... – солнце приклонилось к тому берегу озера и неприятно светило в глаза. Запели смешанную плясовую. В ней захрипели и забасили пьяные голоса мужиков, от чего песня, ожидаемая как веселая, звучала грубо и зло.

– Да я б домой уж пошел ночевать, – продолжил Игнатий, стараясь быть убедительным. В его голосе скользнуло сдерживаемое раздражение.

Вынести тулупы в предбанник он мог и сам – дело-то простое. Но, если бы Акуша выполнила просьбу, раз муж просит, то показала бы, наверное, что ждет и желает его возвращения.

Не получив ответа, Игнатий добавил уже без надежды, отчего упрек в его голосе звучал уже неприкрыто: – А то совестно, видят же все!

Акулина перевела охладевший взгляд с кошки на красное от закатного солнца озеро. На том берегу пьяные мужики заспорили, песня оборвалась, послышались крики, ругань, и возгласы драки. Видать, и мужики отпели свою песню.

– Я их завтра почищу и отстираю. А к вечеру и баню истопишь, – наконец ответила она, спихнула кошку, и встала.

– Как завтра? – возмутился Игнатий и вскочил на ноги. – Да ты что же это!?! Эт как же так!?

– В озере с мостков помойся, или... как хошь сделай, – ответила Акулина свысока, тем более, что стояла повыше, и быстро удалилась в избу, довольно громко хлопнув дверью.

Над берегом, хлопая крыльями, пролетел сыч, пугливо вспискнув на лету.

Игнатий шагнул за нею, поднялся на ступеньки, но остановился, случайно наступив на цветы, оставшиеся лежать нетронутыми. Он долго смотрел на них, не отнимая ноги и что-то сосредоточенно обдумывая. Наконец, махнул рукой и принялся с хладнокровным ожесточением топтать непринятый подарок сапогом, «растирая» цветы с протяжкой, чтоб не осталось ни одного целого кусочка.

Вернулся к нижней ступеньке, устало сел на нее, охапкой сдвинул шапку на лицо обеими руками, и так замер без движения.

На том берегу запели протяжную. Запели хорошо – тоскливо, печально, и с таким сердечным надрывом, что даже засевший в прибрежной раките плачущий сыч, скромно замолчал, словно прислушиваясь к тому, как нужно петь о горе.

Игнатий поднялся, подумал еще немного, опять махнул рукой, и ушел. На тот берег.

\*\*\*

Вернулся Игнат уже в полной темноте. Сильно шатаясь,

он кое-как доплелся до сеновала, остановился и долго стоял, все так же пошатываясь, хотя и держался обеими руками за стену. Наконец, пробубнив осипло что-то невнятное, Игнатий оттолкнулся от стены, и побрел дальше по двору.

Дойдя до бани, он с трудом открыл дверь, вошел внутрь и уселся на пол в предбаннике. В совершенной темноте попробовал выбить огонь из кресала, чтобы растопить печь, но добиться нужных искр не получалось, и он упрямо пробовал еще и еще, пока не убедился, что сегодня ему бани не истопить.

Тогда он улегся на пол, нащупал в темноте овчину, набранную еще его покойной матушкой в большое зимнее одеяло, завернулся в него с головой и уснул.

На том берегу уже не пели, мужики и бабы разошлись по домам с тем, чтобы встретиться теперь по уборке хлеба.

\*\*\*

За полночь баня загорелась. Пламя красиво и ровно осветило двор, и он стал похож на огромный поминальный стол, у которого в церкви молятся за упокой.

Увидев свет, Акулина в ночной сорочке выскочила на двор, схватила пустой ушат и, босая пролетев мимо бани напрямиком к банному примостку, зачерпнула воды, вылила на себя, потом еще. И так, насквозь мокрая, чтоб не загореться, метнулась к открытой банной двери. Игнатий лежал головой на пороге. Она сбросила с мужа дымящуюся овчину, подсунула руки под мышки мужа и рывками потащила его

вон. Доволоча до песчаной береговой кромки, она перекатила горячее бездыханное тело в воду так, чтобы выглядывало только лицо и грудь, которую она взялась поливать водою, набирая ее в свои не по-сельски маленькие ладошки.

Когда прибежали Федор с Варварой, все было уже кончено.

Акулина, уже принявшая смерть нелюбимого, а может наоборот, любимого втайне от самой себя, мужа, сидела рядом с ним прямо в воде спиною к озеру, обняв умершего за плечи и прильнув лицом к его подгоревшей бороде. Она уже ни на что не обращала внимания, и все потеряло для нее важность: и Федор с Варварой, и пылающая с треском баня, и холодная прибрежная вода, и мокрая, покрытая пятнами ила и сажки сорочка, и весь этот мир.

– Боже... – бормотала она, вздрагивая всем телом в беззвучных рыданиях. – Того ли я хотела? Из-за глупого упрямства потеряла я мужа...

Промычав что-то невразумительное и выпучив ошалелые глаза, «мертвый» Игнатий резко поднялся и сел, от чего Акулина свалилась набок, шумно плюхнувшись в воду, обнял себя руками, и дрожа, промямлил пьяным непослушным языком:

– У-у... Холодно чего-то... – он с удивленным непониманием огляделся вокруг: ночь, огонь, Федор, Акулина, озеро. Все эти части, понятные по отдельности, не связывались в целое. Такое бывает только во сне. Ледяная вода. Она страш-



ная.

Игнатий вскочил с ужасом, выбежал на берег, и крупно трясясь не то с холода, не то со сна и неожиданности, против воли подошел чуть ближе к догорающей бане. Тепло...

– А... че эт..? – спросил он невнятно, ни к кому не обращаясь, и сделал еще шагок в сторону огня, чтоб быстрее согреться.

Внезапно тишина взорвалась шумом голосов, вопящих что-то непонятное наперебой. Федор, выпучив очи, восторженно кричал о Божьей милости, Варвара причитала в голос его имя, как на похоронах, а Акулина... тихо плакала и вздрагивала, прильнув и обняв его за шею, и прислонив к его груди свою мокрую, и от того темноволосую, голову.

\*\*\*

Утро к Игнатию пришло с запозданием и болезнью.

Выпив без остановки всю кринку квасу, для которой рядом стояла большая глиняная кружка, и невольно крякнув, Игнатий отер усы и прислушался: в доме никого не было. Подумав недолго, он нерешительно вышел на крыльцо: баня и вправду сгорела. Рядом с уцелевшим примостком возился Федор, обложившийся старыми прохудившимися рыболовными вершами.

– Смотри-ка, – обратился он весело к Игнатию, приветственно взмахнув рукой. – Грабли сгорели до одной. А верши не загорелись, хотя и недалече лежали. Вот, хоть добрал-

ся их починить...

– Чего за вино-то хоть было? А, Гнаш? Нам бы хоть кружечку принес! – озорно пошутила Варвара, сидящая на скамье в тени избы. Она перебирала грибы, ссыпанные на землю в огромную пахучую гору. День суетился уже в полную силу.

– Да, эт... Не разбираюсь я... – Игнатий спустился с крыльца, и, пройдя через двор, подошел к останкам бани. Обгоревшие черные головешки не дымились: с утра их старательно залили водой из озера.

– Ну, ты как? – спросил Федор без сочувствия, но и без осуждения. Спросил – как спросил, просто, чтоб знать.

– Да... Почитай, обыкновенно... Только не напьюсь ни как, – Игнатий бодрился от стыда: ни за самим Игнатием, ни за кем из их родни пьянства не значилось. Он присел рядом с Федором, придвинулся вплотную, и вполголоса, чтоб не расслышала Варвара, спросил: – А Акушка где?

Федор, догадавшись о смущении брата, так же тихо, не отрываясь от работы, ответил:

– Пошли с Агафьей по ягоду чуть свет. Скоро уж возвратятся.

Игнатий оглянулся на ворота. Сквозь просвет приоткрытых створок виднелась пустая дорога, уходящая в поросший лесом горизонт.

– Я-а... Эт... Похоже... баню сжег, – признался он тихо и покраснел.

– Да? – Федор взглянул на него быстро, и тут же вернулся

к работе с вершей, продолжив заменять лопнувшие и подгнившие прутики новыми. – А я видал-то...

– Ты уж это... того... – Игнатий опять осмотрел груды углей, обступивших остов печи с уцелевшим дымоходом, еще вчера бывших банею. – Ты не сердчай... Федь... А?

Федор впутал последнюю хворостинку, потряс вершу и постучал ею об землю – как новая!

– Все слава Богу, брат. Все слава Богу! – он улыбнулся, и обняв Игната, все так же тихо, чтоб не слышала Варвара – а слух и внимательность у нее были отменные – шутливо и добродушно пожурил: – Ты же хотел семью наладить? Я говорил тебе как сделать? А ты решил по-другому... Ну и как? Наладил?

Игнатий отвернулся к озеру. В зарослях тростника отдыхала пара лебедей, вокруг которых сновали вертлявые гусята. Издалека они так слабо желтели, что цветом были похожи на переваренные яичные желтки.

– А у Бога свои пути. Вот Он взялся за тебя, и баня эта – прелявный тому признак, как я разумею. И теперь все будет хорошо. Если потерпишь, и, если будешь «слава Богу» говорить, а не унывать, – закончил Федор, встал, поставил вершу на примосток, и распорядился уже во весь голос: – Ну, запрягай, поедем к управляющему, возьмем делянки на сушняк, ну и на бревно для бани.

\*\*\*

Аристарх Филимонович, управляющий владениями мест-

ного помещика, слыл недобрым и испорченным человеком. На своей должности пребывал он смолоду и служил еще при прежнем барине Петре Оттовиче. Тот жизнь прожил, как говорили, человеком ученым и сведущим во всякой научной премудрости. Повторял частенько, что просвещение спасет мир от зла, и сам искренне старался воплотить свои разумения в действительность. Но его милосердие и доброта растекались только на своих близких, совсем немного их хватало для прислуги, и уж вовсе этот источник не доходил до мужика. Поэтому нередко бывали при нем телесные наказания, порой с ожесточением, производимые большею частью руками управляющего.

Вслед за барином и Аристарх Филимонович оставил Бога да устаревший невежественный уклад, заразился милосердной просветленностью, потому розги уже не пользовал, а пристрастился бить палкой по пяткам, чем иных калечил.

Но, дал Бог, к середине жизни управляющий смягчился сердцем через то, что женился на молодой и тихой Прохоровой вдовушке. Та родила ему дочь. И, хотя девочка уродилась хворенькая, слабенькая, да и ножками хромая, души он в ней не чаял.

Дитя это было доброе и ласковое, но слабое духом. К седьмому году случилось ей напугаться, и с той поры она уж вовсе не вставала на ноги и почти не говорила, а все больше плакала или молчала, глядя под ноги. Очень переживал Аристарх Филимонович и места себе не находил. Но доктора

только разводили руками.

От такого несчастья с дочерью, поговаривали, управляющий бывал жизнью недоволен и сердит. Иные же судили, что наоборот, имел он беды из-за своей недобрости.

– С вас, с каждого, двойная плата за сушняк и хворост, как вы не барские люди, а вольные, – ответил он братьям Никифоровым. – И с каждого бревна еще то, что насчитаем. Но, если за неделю не управитесь, отдам делянки другим, мне ждать незачем. А делянки вам в Мокрой балке, на той стороне болота.

Федор слегка поклонился в знак согласия. Игнатий же возмутился:

– Батюшка, Аристарх Филимонович, эт как же? Мы же с другой стороны живем, это ж как далеко-то? А болото там, низина, да и к дороге далеко...

– А мне то что?! – вскрикнул управляющий, вспыхнув от такой дерзости, но, осененный светлой мыслью, тут же вернулся в привычное покойно-повелительное состояние. – Хотя, постой. Там рядом куток есть небольшой, особняком. Он у дороги. Я вчера там был, сушняка там с головой хватит. Эта делянка тебе, Игнат Никифорович, но с тебя тогда втрое, за удобство! А не хошь – пошел вон, топитеь с одной делянки в две избы.

Влезли братья на телегу и тронулись в путь. Объехали озеро, повернули к реке Тихой и, как только сошли на прямую дорогу, услышали позади топот копыт и пронзительный

свист – их нагонял немалый отряд казаков.

Казачок, что скакал первым, хлестнул мужицкую кобылу, и та, напугавшись, дала галопу в обочину. Соскочила с насыпной дороги и, что есть дури, помчалась вдоль, по кочковатому заливному лугу, соревнуясь с обгоняющими ее по дороге казачьими конями с лихими наездниками.

– Стой! Стой несносная, чтоб тебя! – закричал Игнатий и потянул поводья, привставая для пущей тяги. Но кобыла не слушалась, и на всем лету, с шумом разбрызгивая струи воды, влетела мимо моста в реку, где уж замедлилась, завязла и, наконец, остановилась.

Река Тихая летом неглубока, а дно ее каменистое и не топкое. Однако ж переднее правое колесо нашло себе колдобину, провалилось, телега резко и сильно накренилась в ту же сторону, и, не успевший ухватиться Игнатий, свалился в воду:

– А-ах ты-ы! – падение его было неловким и пришлось головою вниз. Он быстро вынырнул, поднялся на ноги, суется, всплескивая руками и фыркая, – глубины в яме по пояс. Не мешкая, Игнатий со всей возможной быстротой выскочил на берег, будто это имело смысл. Промок он весь целиком до макушки и основательно.

Федор же снял сапоги, вложил в них портянки, и подкатив штанины выше колен, тоже побрел к берегу. Однако, остановился у заднего левого колеса, задравшегося кверху:

– Игнаш, смотри-ка чего, – и он указал на колесо: оно

перекосилось и болталось на четырех спицах из десяти. Остальные лопнули – сорвались в шипах со стороны косяков.

Игнатий забрался в плотную и влажную тень затянутой хмелем ивы, присел на корточки и взялся обеими руками за голову. Лицо его выражало страдание:

– Эка нелегкая! Все из-за этих казаков! У-ух, хазарское племя, над христианами бедокурят!

Федор выбрался на берег, поставил сапоги на пригорок, и не отворачивая штанин, уселся на седоватый округлый валун, теплый от летнего солнца. Поразмыслив, он решил успокоить брата:

– Игнаш, и казачки наши братья-християне. Все дела-то Божии, а коли так, то только к доброму поворачивают, уж потерпи чуток... Все слава Богу.

Сидящий в тени у воды Игнатий тут же «оброс» облаком назойливых заунывно-певучих комаров, хлопнул себя по лбу и с раздражением махнул рукой не то на Федора, не то на комара:

– Где ж тут «слава Богу»? Телега встряла, я весь вымок. А теперь еще и домой возвращаться за колесом! А день идет, не ждет. Много ли мы выгадали, когда купили сосновое колесо подешевле в Кривянке? Брали бы хорошее, не обеднели бы!

На ветку над Игнатом уселась иволга и затеяла свои причудливые пересвисты. Ее ектенийные возгласы отражались от леса на том берегу и эхом возвращались обратно, отче-

го пространство ощущалось объемным и наполненным жизнью.

Игнат встал и наткнулся взглядом на птицу, которая сидела на ветке на уровне его лица:

– Кыш! – махнул он рукой. – Пищит, как несмазанное колесо!

Поворчав еще немного, он босым отправился домой.

Федор подхватил свои и братовы сапоги, распряг лошадь, свел к старой непроезжей дороге на том берегу, густо поросшей темно-зеленым и плотным спорышом, и привязал поводом к молодому крепкому дубку. Пусть пасется.

Дорога эта вливалась в основную как раз напротив моста и образовывала перекресток. Здесь еще Никифор Афанасьевич по обету в свое время возвел простенькую деревянную часовенку в честь святителя Николая. Федор не показывался в часовне уже второй год, с тех пор, как в очередной раз покрывал ветхую крышу льняной олифой. Все намеревался зайти к святителю обмолвиться словечком, но времени не хватало.

– Отче Николае, моли о нас грешных, – Федор троекратно перекрестился и поклонился, почиркал огнивом, которое всегда имел при себе, и разжег лампадку. Старое масло, потрескивая, закоптило черным дымом, но разгоревшись, утихло дымить, и лампадка замерцала ровным желтым огоньком, вздрагивающим на пронырливом сквозняке.

Обступавший часовню молодой вишняк внезапно и мощ-



но зашумел листвою от резкого порыва ветра, спугнув семейство неугомонных белок. Солнце потускнело и будто бы погасло. Гремя крупными каплями по дощатый крыше, на землю сорвался свежий и тяжелый летний ливень.

Федор встал перед иконой святителя, развел в стороны опущенные вниз руки, и с мягкой застенчивой улыбкой произнес:

– Ну, вот и свиделись, – таким голосом, каким говорят с близкими людьми после разлуки. – Благодарствую тебя, батюшка, что спрятал от дождя, знаешь про мою ушную болельнь.

И опять перекрестился и поклонился.

Дождь лил таким плотным водопадом, что будь он сорокадневным, пожалуй, начался бы второй Потоп. Однако, пошумел он для важности, да и поослаб. Мелькнуло солнце в облачной прогалинке, подмигнув весело. Тучи посветлели, и дождик присмирел, заморосил вполсилы.

– Ну вот, – обратился Федор к иконе, все это время стоя перед нею ровно и торжественно. – Благодарствую, батюшка.

Он еще немного постоял, заглядывая в потемневший от времени лик, и начал:

– Взбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источай многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море... – его лицо преобразилось и просветлело, и само уже походило на икону древнего русского святого.

На крест, завершающий обналичку двери, вспархнула

знакомая иволга, и вступилась вторить Федору своим свирельным восклицанием. Дождь притих, и целый мир пробудился к пению: яркие переливы иволги, веселые и пестрые посвистывания дрозда, журчащие трели жаворонка и неподражаемые щелканья царственного соловья. Все эти трепетные возгласы сливались воедино, собираясь в хор и подбирая по пути прочие, малоприметные по отдельности россыпи.

Всептичье ликование насыщенной волной задрожало над рекой. Казалось, это оно сгущается над водою паром, туманом расстилается вдоль луговины, чтобы вобрать в себя самые мельчайшие звуки и ароматы цветущего луга и возвестись, наконец, на Небеса. А уж там, благословившись у своего Творца, сгуститься в облако и обрушиться на землю живительным и радостным дождем.

И внутри этого первозданного потока естественной нитью вплетался голос человека, восклицающего своему другу и покровителю на Небеса и прославляющего с ним Творца:

– Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати...

– Радуйся, обуреваемых тихое пристанище; радуйся, утопающих известное хранилище...

– Радуйся, многих от гибели исхитивый; радуйся, бесчисленных неврежденно сохранивый...

Дойдя до края горизонта, юркая летняя туча развернулась и двинулась обратно тем же путем. Дождь набрал силу, забарабанил по крыше, а потом и загудел. Вода шла сплошную,

будто реки теперь текут не от горизонта до горизонта, а от неба до земли.

Окончив акафист и положив двенадцать земных поклонов, Федор поднялся и заговорил со свойственной ему простотой:

– Вот, батюшка, про Агафью знаешь. Так ты, батюшка, подсоби, помолись Господу. А то ведь останется в девках. А парень-то хороший, золотой парень! Но задал управляющий за него на выкуп столько, что едва за год собрали. А как собрали, так удвоил. Еще год собирать? А как и еще через год удвоит? Уж подсоби, отче Николае!

– И помоги рабу Божию Игнатию, что-то не ладится у них. Эдак недалеко и до греха какого... Знаю, батюшка, что поможешь... И благодарствую, что пригласил в гости. Аминь.

Тишина наступила внезапно, будто ничего и не было, и о дожде напоминали лишь напористые потоки, устремившиеся с бугров в низины, да залитая водой дорога, больше похожая на обмелевшую реку.

Когда Федор вышел из часовни, уставший и промокший Игнатий уже подходил к мосту, таща колесо на спине.

– Ох... Не столько тяжелое, сколько неудобное, – он поставил колесо на землю и с трудом распрямился. – Если еще раз пришлось пойти, так и не осилил бы.

Колесо сменили без затруднений, впрягли лошадку и вывели телегу на дорогу. Струи желтоватой от песка речной воды полились на размоченную дождем дорогу.

Как вода стекла, отправились в путь. Слизкая дорога не пускала торопиться, налипая грязью на колеса, и лошадка с нею не спорила, шла тихо и дремотно.

Игнат устал, руки его легли на коленки, сам он сгорбился и приуныл.

– Что ты, брате, опечалился, не лихо какое, – Федор не мог видеть страданий брата.

– Да знаю... – ответил Игнатий задумчиво. Слева от дороги тянулась река, а справа, где сидел Игнатий, плотно стоял лес, и мокрые ветки встречных деревьев хлестал его по лицу и плечам, обдавая брызгами дождевых капель, если он не успевал увернуться. – Просто все к одной куче. Баня эта, вино. Жена... Вишь как: в день нашей свадьбы, когда уж остались мы одни, говорю я ей: «Акулинушка, люб ли я тебе?» А она говорит: «нет, не люб». «Да по что нелюб-то», говорю? «Да по то нелюб, Федор, что рыжий ты бороною, и на людях мне совестно с тобою». Тут я свету белого не взвидел от обиды, что уж двенадцать лет как не найду себе покою.

– Ну что ж ты, братец, – Федор обнял брата за плечо. – Нешто за двенадцать лет она не поправилась умом? Ведь дитя была совсем... Простил бы ты ее. Ты, когда в бане-то горел, так она в огонь за тобою пошла! Гибель верная, а не убоялась. Ты сама, говорю, едва что не сгнула! А она мне отвечает: мне без Игната не жизнь, с ним бы и сгорела, нет печали.

Игнатий недоверчиво искоса взглянул на брата и дернул

плечами:

– Может просто боится остаться вдовою? Я так думаю, что в этом деле сразу не пошло, то уж потом не соединить. Не люб – так не люб. Борода рыжая! И где она рыжая!? – воскликнул он, выставив лицо вперед и кося книзу глазами, потянул себя за короткую рыжую бороду, стараясь оглядеть ее всю. Потом, успокоившись и поразмыслив, добавил: – ну, может самую малость...

– Да чего ей вдовства-то бояться? Просто уж детские-то глупости повыветрило, и теперь уж она настоящею женою стала, – Федор прихлестнул вожжами и смешно чмокнул на лошадь, поторапливая ее. – Это все свывается и сживается так, что все равно что два куска смолы на солнце, поди разорви. А что сразу должно... Так то у «просвещенных» господ такое: влюбятся, поженятся, и сразу у них все, вроде как, понастоящему и навеки. А через год уж по сторонам глядят.

Река юльнула в сторону от дороги, разлившись на прощанье широкой излучиной, и оставила густо заросшую, заболоченную старицу, бывшую когда-то той же самой рекою Тихой.

Дорога мягко вкатилась в низину. Густая рослая трава, смятая и сбита проливным дождем, наполнила тенистую прохладу терпким запахом подкошенной зелени, одолевшим даже настойчивость притоптанных ливнем петушков. Вдруг в это облако вкралось что-то постороннее, удушливое и назойливое, и ложбина подернулась сизоватым стелящимся ту-

манцем.

– Дым? – приняхался Игнатий.

Лес окончился плотной стеной, и огибающая его дорога круто увела вправо, открыв путникам вид на их делянки сосняка. Обе они теснились обособлено, захватив сухие части опавшего и оплывшего ложка. Вся эта впадина затянулась остывающим дымом, льнущим к мокрой земле. Большая часть делового леса была спилена, и лежала тут же, побитая на бревна. Среди этой странной вырубки суетились те самые казаки: собирали инструменты и разбросанные всюду вещи, ладили на чьи-то телеги невесть откуда взявшиеся лишние седла.

Один из казачков, вероятно тот самый, что напугал их лошадь, подошел верхом к остановившимся поодаль мужикам:

– Кто такие?

– Братья Никифоровы, – ответил за двоих Федор. – Это наши делянки лесу. Вот, пришли осмотреть, а тут... А что тут... делается?

– «Хранцузы» лес ваш свалили, задумали через болото мостков накидать, – отвечивал казачок. На вид ему не было и тридцати. – Тут, ежели перебраться, такая дорого по долине откроется, что твоя мостовая. Ну а мы их отговорили. Да, вишь, в суматохе пожару наделали, тот лесочек, – и он указал на делянку Игнатия. – Весь, почитай, выгорел. Но, слава Богу, дождь. Троица скоро, на Троицу завсегда люто дождит.

Казачки торопливо погрузились, и, не мешкая, двинулись в обратный путь, уводя за собою и брошенный французский обоз.

– Да, эт откуда ж здесь взяться французам? – удивился Игнатий. – Это ж сколько верст?

– А они здесь не по военному делу, – объяснил казачок, пропуская товарищей с богатыми трофеями вперед. – Видать, втайне от своих вывозили награбленное, да здесь увязли, басурмане.

– А ваше войско как тут? – продолжил недоумевать Игнатий, потрясенный близостью войны.

– Дело есть. А попутно зашли к вашему барину, он из наших, – казак тронулся, пришпорил, и перейдя на галоп, отправился прочь, но проскакав сотню шагов, казачок, не сбавляя ходу, осадил коня, круто развернулся, и пустился в обратную. Вихрем приблизившись к мужикам, он так внезапно остановился, что обдал ошалевших мужиков мелкими комьями сырого чернозема и вздыбил раздышавшегося с бегу коня.

– Раз это ваш лес, так и возьмите свою долю! – крикнул он и щелчком пальцев отправил в полет небольшой, блеснувший в лучах солнца предмет, развернулся вновь и понесся по просыхающей дороге вдогонку за обозом, уже исчезнувшим в зарослях старицы.

Федор поймал обеими руками, раскрыл ладони – золотая монета. Большая. Глаза Игнатия, и без того раскрытые от

удивления больше обыкновенного, раздались еще пуще. Он, не глядя, сел на сваленное бревно.

– Звать-то тебя ка-ак? – крикнул Федор удаляющейся фигуре, лодочкой приставив к лицу ладони.

– Никола-ем! – откликнулся казачок, обернувшись, и с поворотом исчез за лесом.

Странное зрелище представляла собою выделенная мужикам леснина: почти вся годная в стройку сосна спилена, разрезана на бревна и свалена в стопки, густая и выше пояса высокая болотная трава сбита и стоптана, как и не было ее, а следы копыт, оставленные доброй сотней казачьих лошадей и десятком захваченных у французов телег, превратились в подобие широкой, хотя и вязкой от проливного дождя, дороги. Просохнет.

Братья прошлись вдоль вырубки, оглядели свои владения.

– Нужно теперь прийти ветки побить на хворост, – уныло озвучил Игнатий очевидную мысль. Он снова присел на ближайшее бревно, оперся локтями о колени, и задумчиво уставился в землю. – А моя-то делянка выгорела... Уж не знаю, как ты все это разумеешь, а я не пойму этого. Что такое происходит, почему – то в лоб, то по лбу?

– Не печалься, Гнаш, – Федор подсел к брату. Лицо его снова раздобрилось, глаза наполнились теплой грустью. – Слава Богу же? Так оно все, потому как нету пути сделать по-другому.



– Нету пути в реку не свалиться на всем скаку? Нету пути колесом в яму не вбиться, чтоб мне в реку упасть? Или не лопнуть спицам? Или купить колесо в Кривянке? Или... чтоб у меня борода не рыжею была? – от безделицы он нагнулся за веточкой, но заметив небольшой обрывок нетолстой веревки чуть в стороне, потянулся, поднял ее, распрямил, рассмотрел – малопригодный обрывок, крепко связанный в петлю.

– Стало быть, нельзя было, – Федор задумался, с сомнением повел плечами, и вслед за Игнатием разглядывая теребимую тем веревку, предположил: – Я не знаю, как оно на самом деле-то. Ну, вот подумать, кабы не казаки, так и не улетели б мы в реку. А что плохого? Они француза прогнали, нам-то это к ладу, и дождь, что остановил пожар.

Братья посмотрели в сторону выгоревшей делянки. Уже не дымит.

– А в реку упали, чтоб задержаться нам подольше, чтоб не встретиться с «мусье». Ну, перекосилась телега на яме – так задрало ж поломанное колесо кверху, значит, чтоб менять-то навесу полегше было, – убежденно продолжил Федор. – Так нам тут и лес свалили, и место притоптали. Даже дорогу набили.

– А колесо как же?

– То же и колесо: мы ж тогда хотели в Обуховку ехать за колесами, помнишь? А почему в Кривянке купили? Даша же там. Много ли мы заплатили в той реке горя, что выбрали

похуже купить? Зато с сестрицею свиделись, помогли овдовевшей сироте, а на остаток гостинцев набрали детишкам.

Он улыбнулся, прихлопнул Игнатия по плечу, приобнял, и по-отечески прижал к себе. Тот бросил на брата быстрый взгляд искоса, нерешительно улыбнулся, вздохнул и согласился:

– Ну, может оно и так, не знаю... А как же это выходит: нешто Бог для одного только человека может дождь извести, казаков с французами собрать, и все так устроить? Как же тогда мир-то стоит?

– Да не-ет... Так я и не знаю, чтоб... Ну как бы тебе... Да, к примеру, веревка эта, – Федор взял в руки ее свободный кусок. – Видишь вот, одна жилка в ней темнее, вот, черненькая, смотри, – он, согнул веревку между пальцев так, чтоб лучше виднелся самый темный в общей скрутке жгутик. – Это ты, все твои дела и беды, то, в чем тебе помочь надобно. А остальные жилы – это другие люди и всякие Божии дела. И все они так скручены, что выходит хорошо и прочно. Но веревка ж не для этой черной жилки есть, а вся она – оно одно к одному. Так и это – дождь для тебя, но и всем людям он к сроку, каждому по-своему. А выходит хорошо.

Игнатий поднес веревку ближе к глазам и с пристальным любопытством взгляделся в обозначающую его черную нить в сероватом веревочном свитке, будто разглядывал свою жизнь с Божиих высот. Лицо его озарилось, он повеселел глазами, улыбнулся и бережно, чуть ли не с благоговением,

свернул веревку, сунул за пояс и удивленно качнул головой:

– Хм... Эко мудрено. Но, кажись понял. Дошло, вроде, Федь?

– Ну, и Слава Богу. Пойдем, оглядимся.

Братья еще раз обошли делянку, сочли все бревна – каких сколько, прикинули прибыток по хворосту, осмотрели и Игнатова закуток. Работать здесь действительно было бы сподручнее – место ровнее, дорога вплотную.

Игнатий вошел в хрупкое, хрустящее под ногами, остывшее пожарище, огляделся скучно, уперев руки в боки и крикнул оставшемуся на дороге Федору:

– Это только снаружи кажется, что тут беда, а на деле только опушка обгорела, а внутри все цело! – в голосе его звучало облегчение.

– Так оно всегда так... – пробормотал Федор себе под нос.

Игнатий развернулся было идти обратно и чуть не наступил на бельчонка – уж больно непуглив этот лесной народец.

– Экий ты! – воскликнул он, когда зверек взобрался к нему на сапог. Мужик взял зверька на руки, осмотрел: – Вот ты дерзкая мордаха! Гляди-ка, подгорел, видно, скакнул на головешку. Возьму, выхожу небось.

Обратной дорогой забавляющиеся ветки уже тянулись к Федору, будто для приветствия. И он морщился с улыбкой, если на него обрушивались капли дождевой воды, отодвигал встречную листву, и поглаживал, как живую, приветствуя в

ответ. Заметив взгляд Игнатия, он смутился и пояснил:

– Люблю я деревья, травы всякие. Скотину я тоже люблю, но те разные бывают, то глупые, то своенравные. А деревья – они без греха. А ведь тоже живые. А, Гнаш?

Игнатий дернул плечами:

– Да, эт... Не знаю я. Я и не думал-то о них никогда, – он заметно поуспокоился и, видимо, несколько примирился с собою. – И «слава Богу» это твое... Это ж надо такое... И вот думаю я: и как тебе в голову столько входит эдакого?

– Да сколько ж его входит? – Федор улыбнулся, увернулся от очередной приветливой ветки и грустно заметил:

– Это кажется так... Я, хотя грамоте и обучен кое-как, книг не читаю за неимением, разве на службе богослужебные. А есть у меня только эта маленькая правда – коли порадуеться беде, прославишь Бога, так Он и продолжит свою работу, какую начал, да и вывернет все в доброе. А коли поропщешь, то тем Бога и проклянешь. Он отойдет от тебя, и кукуй потом со своею бедою один на один.

Был у меня по молодости такой случай: служил я у старого барина, у Оттовича, извозчиком. И случилось с ним нездоровье, вроде бы сердечное. Погрузился он в коляску, да и помчались мы с ним в город к доктору. Очень уж он смерти боялся, прям вот ужасался весь. И приказал мне лететь напрямую, по старой-то насыпной дороге.

Я говорю ему, мол, никто уж по ней-то не ездит. Да куда-а там... Вот мы и опрокинулись на всем скаку – ямы-то

там, вишь, повыбило, да крапивою их затянуло, не разглядеть. Коляска в щепки, лошадь моя лежит, не встает: живая, но расшиблась сильно. Мы тоже побитые.

Уложил я барина поудобнее, а сам не знаю, что и делать-то. Уйти за помощью – не пускает он, боится оставаться.

Но, не долго я пробыл с ним. Кричал он, глазищи выпучил, зыркает, будто видал кого. Может родню свою покойную, иль еще кого. Да так и застыл.

Как разыскали нас, так меня под суд и взяли. Уж больно, говорят, покойный лицом ужасен. Видно, мол, что боялся он перед смертью, стало быть смерть насильственная. Вот и выходит, что, вроде, я его сгубил.

Ограбления не открыли, потому решили, что отомстил по злопамятствию.

Бумажные дела – долгая работа. И пробыл я там с полгода. А дома жена – сама дитя, и вы с Дашкой, тогда еще мал-мала. О-ох...

Ну а закончилось тем, что новому барину понадобился извозчик, про меня и вспомнили. Приехал управляющий: не было, говорит, у него вражды на барина. А судья не отпускает. И так, и эдак. Уж и управляющего стал подозревать. Раз, говорит, за мужика заступаешься, стало быть, в сговоре с ним. Потому как, порядочный человек, мол, на такое бесчестие не пойдет без особой причины, мужика-то защищать.

Пришел тогда управляющий меня допросить, да и избил. Да так, что и не знаю, как Богу душу не отдал. А сам говорит,

это я бью тебя, мол, чтобы судья меня под суд не взял за сговор. А еще, говорит, посмотрит он, что ты избитый весь, разжалобится и отпустит тебя.

Вот тогда я дошел до беды – такое на меня нашло уныние, что и не могу описать: ни надежды какой, ни сил, ни веры уже нету. Донырнул, прям, до самого дна.

Собрался я с духом, да в последний раз, думаю, помолюсь, а там уж и не буду. Господи, помилуй, говорю. И тут пришла мне в голову мысль, что Господа Иисуса Христа так же избивали, и поболее, чтоб разжалобить через то судителей, и не казнить Его чтоб. Так, Его-то за наши грехи, а меня-то...

Стыдно мне стало за мое маловерие, но, и радостно, что сподобил Господь пострадать-то по-Божьи.

Лежу, значит, я всю ночь, и помираю. Отбил он мне внутренях что-то. Болит все. А я радуюсь, Слава Богу! Смотрю, а оно и притихает. И куда я «Слава Богу», там уж и не болит. Вот, думаю, какое дело!

Утром судья приходит, на каторгу тебя, говорит. А я думаю, слава Богу, что так говорит. И радостно мне так.

А к обеду меня уж и забрал управляющий. И все удивляется, что это я такой бодрый и веселый после такого-то избивения.

Вот так я и стал с тех пор славить Бога. И ни разу Он меня не оставил.

К хутору подъехали не скоро – после дождя дорога пре-

вратилась в вязкое и липкое препятствие, которое никак не миновать, кроме как терпением. Но, чем дальше они выезжали из тех диких мест, тем земля становилась тверже, пока, наконец, не дошли и вовсе до сухой местности.

– Гляди-ка, а здесь не было дождя, – весело заметил Федор, и повернувшись к Игнатию, добавил: – Ну что, все ли слава Богу?

– Да, слава Богу, – кивнул Игнат, улыбнулся, и надвинув шапку на глаза, заговорческий подмигнул: – Ты вот чего: золото ни мне, ни тебе, а сплатим управляющему за вольную, да уж справим Агашке добрую свадьбу, она у нас одна девка-то.

Подступал вечер. Солнце приблизилось к верхушкам высоких деревьев где-то далеко позади, над Никольской часовней, которую отсюда ни за что не увидеть, над густым темным лесом, над рекой, казаками, французами, чудесно спиленными бревнами, над старым барином, над судьей, над горьким и веселым уходящим днем.

У двора Федора суетилось заждавшееся семейство. Завидев впряженную лошадку, детишки бегом бросились встречать родителя, поднимая легкие клубы придорожной пыли. Федор со смехом прыгнул с телеги, и согнувшись в полуприсяд, выставил руки, разведя их в стороны. Один, второй, третий – врезались в раскрытые объятия ребята, «слипаясь» с отцом в тот самый неразрывный кусок смолы, согретый

солнцем. Поднялся на ноги, облепленный детьми, и принял в «слепок» подбежавшую босую и простоволосую Агашку и, наконец, подоспевшую жену.

Игнат въехал во двор, «тыркнул» на лошадь и крикнул:  
– Фе-дя! Смотри-ка кто у нас в гостях!

Федор вопросительно взглянул на жену. Та принялась то-ропливо объяснять, пока этого не сделал кто-нибудь еще:

– Сестра ваша, Дарья Никифоровна с детишками прибыла на жительство. Тамошний домик ихний отъяли, и осталась она совсем без средств.

– Дела Божии – в добро гожи, а свои дела – как сажа бела, – ответил Федор пословицей, вошел в высокие крытые ворота вслед за телегой и увидел сестру. От дома ее вел счастливый Игнатий с малышом-трехлеткой на руках, второй ребенок, постарше, семенил за мамой, вцепившись рукой в широкий ее подол. Увидев старшего брата, Дарья тихо расплакалась, стараясь скрывать слезы от детей.

– Ну что ты, что ты, милая? – обнял Федор сестру, прижал ее мокрое от слез лицо к своему плечу, потом отстранил, не выпуская из рук, чтоб рассмотреть родное лицо, которого не видел уже давно. Утер ей тыльной стороной ладони слезы и попробовал успокоить: – Оно к тому и шло все. Пусть так. Слава Богу! Раз осталась ты одна, так и неча в Кривянке тебе куковать, с нами будешь.

– Да как же я, Федюшка, вас и теснить-то уже некуда, – ответила она с потаенной, но заметной радостью, и опять при-



льнула лицом к плечу брата.

– А вы ж с Акулинкой с детства «не разлей вода», у них и отнимете, Игнаша только рад будет. А? Игнат? – но Игнатий не откликнулся. Жена слегка ткнула Федора в бок, привлекая внимание к себе, и когда Федор поднял на нее глаза, кивнула подбородком в сторону Игната. Тот стоял у колодца, опершись плечом о его крышу, держал в руках бельчонка, и как мог непринужденно беседовал с женой. Акулина, покрытая ярким платком с крупными красными цветками, подаренным ей Игнатием в день сватовства, и которого раньше она никогда не надевала, выглядела счастливой невестой.

Ошарашенный Федор вопросительно посмотрел на жену, и та с озорной улыбкой, рассказала:

– Сегодня летает, что мотылек! Уж и не знаю, чего, но чувствует мое сердце, что Игнашке к добру это.

– Слава Богу! – перекрестился Федор и, обняв их обеих, повлек сестру и жену в дом – ужинать. Но залаяли собаки, к Никифорову хутору катила открытая коляска – управляющий.

Выйдя за ворота, дождавшись подъезжающей коляски и сняв шапку, Федор поклонился гостю:

– Аристарх Филимонович!

Вышел и Игнатий и сделал тоже, но молча.

Управляющий, не слезая с коляски и не снимая шапки, холодно кивнул и сообщил о цели своего приезда:

– Ты, Федор Никифорович, живой? А то, я слышал, до тво-

ей деланки уж война добралась, – он криво ухмыльнулся и отогнал овода, закружившего вокруг его пухлого лица. Затем проверил, нет ли такого же возле его дочери, сидящей рядом в окружении подушек и прикрытой пестрым покрывальцем. Девочка осталась безучастной и смотрела в пол отрешенными, бессмысленными глазами. – Вот, решил проверить, а то у меня на этот срубленный лес уже сыскался покупатель. Да повы-ыгоднее-е!

– Живой, слава Богу! Лес берем, не отказываемся, – ответил Федор и сделал пол шага вперед. – Такое дело, Аристарх Филимонович... Сестрица наша, как вы ее знаете, Дарья Никифоровна, прибыла в нашу сторону на жительство. Так мы желаем ей на нашем участке, рядом, срубить из того лесу домишко. Мы хотели...

– Ой! Ой-ой! – воскликнул Аристарх Филимонович с возмущением. – Ой! Шустрые какие! Жела-а-ют, – он очень рассердился, и его одутловатое лицо, казавшееся красноватым в лучах утопающего в горизонте солнца, сделалось и вовсе багровым от прилившей крови негодования. – Вы что же, сами себе тут распорядители? А забыли, что земелька-то «невашинская»? «Невашинская» земелька!

– Не-ет, не забыли... Да мы... Аристарх Филимонович... – пытался Федор вставить хоть словечко в непрекращающийся поток возмущений, выплескивающийся из взбурлившей души управляющего. Наконец, не желая продолжать разговор, Аристарх Филимонович потянулся к вожжам,

упавшим на пол коляски, чтоб уехать тут же вон. Но по причине значительности его живота нагнуться так глубоко не получалось, он кряхтел, пыхтел, и краснел все тяжелее. Выглядел он при этом уж очень несолидно, даже смешно. И чем больше он это понимал, тем больше краснело его лицо, и тем больше он старался выйти из глупого положения, подцепив предательскую вожжу. Скорее всего, если б ему поупражняться так еще хоть немного, его лицо лопнуло бы как переспевший арбуз.

Федор попробовал помочь управляющему, пытаясь вытащить вожжу из-под почтенного его сапога, но управляющий сердился еще пуще, и отпихивал руку помощника с негодованием и брезгливостью. Возня сопровождалась гневными выкриками, ради которых Аристарху Филимоновичу приходилось поднимать голову и от того прерывать попытки дотянуться до вожжи. Шуму прибавляла и многословная, но неубедительная речь Федора, и невразумительные бубнящие поддакивания Игната, и лай собак, почуявших неладное.

«Войну» неожиданно, но внезапно и бесповоротно, прервал негромкий восклик хворой девочки, которая, незаметно для всех встала на ноги, с давлением опершись о поручень коляски, и протянув худенькую дрожащую ручонку в направлении Игнатия, произнесла:

– Кто это? – ее удивленный тоненький голосок больше походил на печальный вздох призрака, но для любящего отцовского сердца он звучал как самая восхитительная песня.

Управляющий замер, не разгибаясь повернул багровое лицо к дочери и, убедившись, что на его глазах происходит чудо, распрямился, встал на полусогнутые ноги, как провинившийся слуга перед господином, взглянул на Игната, на Федора, потом снова на дочь. Она повернула к нему свое бледное глазастое личико, и повторила вопрос, не опуская руки:

– Кто это? – глаза ее улыбались! Она, наконец, опустила обессилившую ручонку, и дополнила: – Такой...

Управляющий бережно обнял ее за плечики, мягко погрузил обратно в облако подушек, укутал ножки свалившимся покрывальцем и неуверенно, бочком присел на краешек сиденья.

– Это? – взглянул он на остолбеневшего Игнатия, – это Игнатий. Никифорович.

– Какой он... маленький, – продолжила девочка, уже глядя по привычке под ноги.

Управляющий опять взглянул на Игнатия и оценил его рост, пробежав взглядом с головы до кончиков сапог. Игнатий и сам взглянул на свои сапоги.

– Да нет, какой же он маленький? Он высокого росту, вот и кажется... м-м.. суховатеньким, – краска в его лице плавно пошла на убыль и задержалась теперь лишь в выпуклых, вздрагивающих от волнения щеках.

– А можно мне его? – выдавила девочка неуверенно, теперь уже явно улыбаясь, и повернула свое светящееся вос-

ковое личико к отцу.

Ошарашенный ее неожиданной разговорчивостью и живостью, управляющий отшатнулся, сжался и словно окаменел, как то бывает с купальщиками в Богоявленской проруби. Но, быстро спохватившись, он некасаательно-нежно погладил ее по щеке рукой, и легко прижал ее головку к своему животу, подавшись вперед. Вслед за его щеками задрожал и подбородок, а глаза заволокло дрожащими капельками слез.

– Можно? – повторила девочка куда-то в складки рубахи на его животе, безвольно обмякнув в объятиях отца.

Он отстранил ее, опять прикрыл сползающей накидочкой, и переспросил:

– Кого?

Девочка снова поднялась на ножки, чем окончательно поразила расчувствовавшегося отца, и ткнула пальчиком в сторону Игната, а вернее, в сторону подгоревшего, дремлющего бельчонка, которого тот все еще держал в руках, прижимая к груди.

–А-а-а! Вот кого! – управляющий взмахнул рукой с облегчением и добродушно рассмеялся. – Что только пожелает твоя душенька!

Он кивнул Игнатию подойти ближе и рассмотрел зверька:

– Однако, экий он... Жалкий. Тебе охота белочку?

– Да! – девочка медленно хлопнула в ладоши и широко улыбнулась. В ее глазах пробудились искорки, которых уж никто и не чаял там увидеть.

– Мы возьмем тебе белочку! Конечно! Но, подобнее. Помнишь – только лучшее? – он поднял свой короткий указательный палец, в знак незыблемости правила, по-видимому бытовавшего в его доме.

Девочка осеклась, осела в свои больничные подушки, ее руки бессильно свисли вдоль тела, а лицо приобрело скорбное и нежилое выражение, какое может быть только у человека, преодолевшего немислимые страдания, и ими до дна выжженного. Казалось, она вновь утонула в своем привычном болезненном забытии.

– Что же ты? Подожди! Что же ты! – управляющий заметил перемену, бессмысленно бросился к свалившемуся покрывалу, сполз с сиденья, встав на одно колено, чтобы быть к ней поближе. Но она уже вновь выглядела таким же тающим облаком, какую ее привыкли видеть близкие. – Подожди...

Но, нет. Все же, жизнь в ней еще была. Она подняла ресницы, собралась с духом, и тоненьким дрожащим голосом возразила:

– Я не хочу лучшее! Я хочу обыкновенное! Пусть жалкий, – задор ее исчерпался, и закончился тихим всплеском: – И я жалкая, так что же?

\*\*\*

На другой день управляющий прикатил чуть свет и, не останавливаясь у ворот, въехал во двор. Черты его лица, изможденного и измятого бессонницей, будто бы обострились, а потемневшие впалые глаза казались большими и безумны-

ми.

– Федор! Фе-дор... – проговаривал он, по-русски троекратно обнимая и целуя Федю. – Никифорович! Всю ночь не спал, ждал утра: как же это? Белка хромая – лучше всяких докторов! Смеется, сладкая моя! Да как птичка! Моя птичка... – и он разрыдался, затрясся, пряча лицо в ладони. – Я виноват! Я... Мои грехи! Что же я наделал...

Они удалились к дальнему мостку, сняли сапоги, и окунув в воду босые ноги, просидели так многие часы.

Время от времени Варвара Никитишна с крынкой квасу наготове украдкой выглядывала из-за угла избы, откуда хорошо можно было разглядеть беседующих, и пыталась понять, о чем так долго можно говорить, и не стоит ли поднести питья. Но беседа была престранною: Аристарх Филимонович что-то все быстро тараторил, то гневно, размахивая руками и грозя в никуда пальцем, то тихо бормотал, ссутулясь, и спрятавшись в свои пухлые ладони, то и вовсе молчал, обиженно отвернувшись от Федора. А тот и сам сердился, вскакивал на ноги, гневно что-то выговаривал управляющему, ходил туда-сюда по мостку, а то, вдруг, глядя под ноги, хватался обеими руками за голову, будто ужасался чему-то, что увидел на этих старых, замшелых досках.

Наконец, ближе к полудню, управляющий уехал. Конечно, испив кваску.

Федор так и не рассказал, о чем они так долго и больно говорили. Ответил только коротко:

– О детях, мать. О детях. И об отцах... – и поднял ладонь, пресекая ожидаемые расспросы.

\*\*\*

Избу Дарье Никифоровне срубили, повернув лицом к общему двору. Так и стояли эти три избышки, обнявшись заборами и глядя друг на друга веселыми своими окошками.

Через год Акулина родила Игнатию сына. И это был только первенец.

Агафьиного жениха на волю выкупили без вредности, да и справили свадьбу до Петровок.

Прошли годы. Первым отцовский хутор покинул Федор, дожив до глубоких седин. За ним, через добрый десяток лет, друг за дружкой, и вся пожившая семья отошла.

В день похорон Игнатия, старушка Акулина тоже засоби-ралась.

– Да с чего это тебе, бабушка? – улыбались ей внуки. – Ты крепкая еще, и здоровье твое хорошо, и нет в тебе какой хвори. Ты еще поживешь.

– Нет, родные... – отвечала она с теплой грустинкой. – Это как же? А кто мне «Слава Богу» скажет? Так только Игнаша мой умел. Только он один.

На третий день она принялась всерьез прощаться с близкими – чем старики только не чудят! Оделась во все новенькое, приготовленное заранее, повязалась тем самым платком



и как будто бы прилегла передохнуть. Да и померла.

Не смогла без Игнатия. Видно, люб-то он ей был. Ну и слава Богу.